

КАК ИВАН ИВАНЫЧ ОСЧАСТЛИВИЛ ЦЕЛЮЮ СТРАНУ

Иван Иванович в свободное от работы время мастерил всевозможные деревянные рамки для картин. Не на продажу, а так, для души. Получалось довольно искусно. А потом он с удовольствием раздаривал их своим знакомым и знакомым своих знакомых. Никто не отказывался, и вообще это занятие очень скрашивало его довольно заурядную жизнь. Быт был труден, да и обстановка была напряженная, какая-то тревожная. Но по вечерам, после работы, были рамки и всякие лобзики, пилки, напильники, лаки, ароматная древесина. И все тотчас забывалось — и как начальник кричал и топал ногами из-за какой-нибудь мелочи, и Ивану Ивановичу все хотелось ему сказать: мол, что это вы так-то уж распоясываетесь? Но он, конечно, молчал, или кивал покорно, или говорил: «Виноват»... Да, все это над рамками забывалось. Забывалось, как сантехник сказал, дыша перегаром: «А и хрен с ней, что течет. У меня прокладок нету, понятно?» — и как он после работы в очереди за мясом простоял около трех часов и его за это не то что наградили, а обругали и толкнули несколько раз и пытались подсунуть ему костей.

От всего этого Иван Иванович выглядел сутулым и спавшим с лица, словно тяготы жизни специально отпечатались на его лбу, и щеках, и фигуре. Нет, это вовсе не означает, что жизнь ему была не мила. Он любил жизнь, даже свою работу, а уж о рамках и говорить нечего. Но у других все как будто складывалось попроще, а у него получалось почему-то, что он всем всегда мешал и не очень-то был нужен, и все как будто прекрасно могли обойтись без него, да и друзья-то, в общем, были приятелями, как-то не особенно вдавались в его жизнь: ну, живет, мол, и живет. Рамки — это любопытно, молодец, можно и принять, если дарит. А чего же не принять? Здорово это у тебя, молодчина... Но при этом они и без него могли прекрасно обходиться, а уж без рамок без его и тем паче. Просто он дарит — не отказываться же. Зачем обижать человека?

И вот так случилось, что однажды одна из этих рамок, трудно понять какими путями, попала в руки президента одной крупной японской фирмы «Синсейдо» господина Отаке-сан. Господин Отаке-сан рамке этой чрезвычайно обрадовался. Нет, он не собирался рамками этими торговать, не торговые интересы в данном случае руководили им, а дело в том, что он в свободное от основной работы время занимался живописью, так просто, для души, и однажды он вставил нарисованную им картину в рамку Ивана Ивановича и увидел, что это чертовски гармонирует. Что-то ему показалось общим в настроении его японского сюжета и древесном узоре, изысканно проглядывающем сквозь лаковую пленочку рамки неизвестного московского мастера. Я, конечно, не сомневаюсь, что такой богатый человек мог приобрести себе рамки в той же Японии или, скажем, в Америке, но ему пришлось именно эта. И вот он воспылил к рамке Ивана Ивановича, и ему страстно захотелось соединить эти два искусства более основательно. В Москве, конечно, никто этого не подозревал, все были заняты перестройкой, как вдруг в учреждение, где трудился Иван Иванович, нагрязнуло официальное приглашение от фирмы «Синсейдо» лично Ивану Ивановичу посетить Японию, быть гостем фирмы и участвовать в праздновании ее сорокалетия. Ну, тут вы, конечно, представляете, что началось! Сначала был шок. Затем начальник страшно обиделся с непривычки, вызвал Ивана Ивановича и стал на него кричать, и топать ногами, и намекать на подозрительное в последнее время поведение Ивана

Иваныча и на его весьма возможную связь с японской разведкой. В былые времена ничего такого не произошло бы, ибо начальник усмехнулся бы и отправился в Японию сам, сказав японцам, что Иван Иваныч тяжело болен, но теперь царила перестройка, и нравы начали меняться, и начальнику был спущен приказ немедленно собирать Ивана Иваныча в дорогу. Все завертелось, застучало, забегало. Начальник держался за сердце: его угнетала вопиющая несправедливость, ибо судьба оказалась благосклонна к какому-то ничтожному, сутулому и жалкому сотруднику, это ему открывается счастливая перспектива, и вообще чушь собачья, доперестраивались, докатились... Короче, как начальнику ни было это отвратительно, но, сжав зубы, приказ он вынужден был исполнить, и канцелярия заработала, и вскоре Иван Иваныч получил все необходимое.

Надо сказать, что в довершение всего путь ему был оплачен японской фирмой в оба конца первым классом в японском самолете. Это, видимо, еще больше усилило неприязнь начальника. Он даже попытался в сердцах предпринять некоторую интрижку, шепнуть туда-сюда, рассыпать подозрение, но благодаря опять-таки новым временам усилия его не увенчались успехом. Когда же Иван Иваныч просеменил к нему, чтобы поблагодарить, начальник Ивана Иваныча не принял, а передал через секретаршу, чтобы Иван Иваныч в поездке себя соблюдал и не опозорился бы в коварном капиталистическом мире.

У Ивана Иваныча эйфории не было. Он продолжал двигаться в привычном ритме. Даже накануне отъезда привычно выслушал по телефону всякие служебные распекаания, затем бросился по очередям, чтобы сделать запас в дом, простоял несколько часов за помидорами, долго и мучительно втирался в автобус, а когда наконец вывалился из него под браные выкрики соплеменников, увидел, что помидоры в полиэтиленовом пакете превратились в кашу. Но он их не выкинул, сообразив, что даже и в таком виде их можно использовать в борще.

Конечно, он немного расстраивался, что у него нет каких-то там заграничных одеяний, но делать было нечего, да и огорчение это было недолгим. Ну он, конечно, нацелился купить матрешек в качестве сувениров, но в последний день навалилось много хлопот, и он не успел.

И вот в назначенный день с допотопным чемоданчиком в руке и связкой рамок он доехал в автобусе до Шереметьевского аэропорта, вошел в стеклянную дверь, и Москва осталась за спиной.

Иван Иваныч принялся растерянно озираться, потому что не знал, куда идти. Табло перед ним было на непонятном языке. Все пробегали мимо. Слышалась иностранная речь. За стойкой возвышалась пышная блондинка с холодными глазами. К ней подходили вальяжные иностранцы, спрашивали о чем-то, подавали паспорта, билеты, чувствовали себя как дома. Иван Иваныч понаблюдал за ними, набрался смелости, даже попытался немного распрямиться, подошел к ней и тихо спросил:

— Куда мне нужно?

— А я почему знаю? — сказала она с тоской.

— Мне в Японию, — сказал Иван Иваныч виновато, — а куда идти — не знаю.

— Паспорт, — строго распорядилась она. Он протянул ей паспорт. Пальцы его дрожали.

— Билет, — потребовала она. В глазах ее витало презрение.

Он принялся искать билет в бумажнике. Блондинка зловеще молчала.

Он стоял перед ней сутулый, втянувший голову в плечи и думал: «А вдруг билет поддельный?..»

Она долго возилась с его билетом. Наконец чемоданчик и рамки уехали по эскалатору. Вдруг к блондинке подошел ее сослуживец, заглянул в билет Ивана Иваныча и сказал:

— Людочка, что же ты делаешь? Это ж первый класс.

И Иван Иваныч увидел, что она покраснела, и увидел ее взгляд, обращенный на него, полный недоумения, словно она пыталась понять: как это такой ничтожный Иван Иваныч да первым классом, да на японском самолете?

Она переписала какие-то карточки, вручила ему с билетом.

— А дальше куда? — спросил он.

— Катро... — проговорила она, все еще сомневаясь в истинности происходящего, и занялась следующим пассажиром.

Иван Иванович засеменял по залу, повторяя про себя: катро... катро... Но его божественная природа все же не окончательно погасла, она включила отчаяние, а оно, в свою очередь, интуицию, а уж та привела Ивана Ивановича к стеклянной будке, которая и оказалась катро, то есть пограничный контроль, и совсем юный пограничник занялся его паспортом. Это продолжалось довольно долго, и Иван Иванович вновь с ужасом подумал, что пограничник скажет: «А виза-то фальшивая!» Но все обошлось, и его пропустили. Куда идти, он не знал, а время близилось к отлету.

Но человек, прошедший школу очередей, учрежденческих лабиринтов и прочего, обладал, видимо, таким изощренным опытом, что уж окончательно его согнуть было невозможно. И Иван Иванович, потоптавшись на месте, поозиравшись, судорожно глотнув воздуха, вдруг увидел двух японцев, которые очень уверенно двигались от пограничного контроля. И он пошел за ними следом, и правильно сделал. И они пришли наконец к стеклянной стене, за которой виднелись ряды кресел, вошли в стеклянную же дверь, предъявили билеты, миновали еще один контроль, и у одного из японцев что-то запищало, зазвенело, и его остановили, начали ощупывать, обнаружили связку ключей, снова пропустили через специальные воротца. Ключи ему вернули, а Иван Иванович прошел благополучно и оказался в зале с креслами. Не успел он присесть и утереть пот, как приятный голос объявил посадку именно на его самолет и пассажиры потекли к указанному выходу. Иван Иванович влился в общий поток. Это было приятно: можно было не напрягаться, отыскивая направление. Его несло потоком по извилистому коридору, и он благополучно достиг распахнутой двери, куда втекали все, и, замирая, переступил порог...

Иван Иванович за свою жизнь всего лишь раз летал в самолете. Из Москвы в Свердловск. Тогда он вошел в самолет, и стюардесса велела ему проходить вперед и садиться на свободное место, да побыстрее. И он сидел в тесном кресле, скрючив ноги, под рев моторов, и никому не было до него дела, и лишь один раз предложили ему съесть леденец для чего-то и глоток лимонада... А тут произошло совсем непредвиденное. Он переступил порог и очутился в просторном помещении, ну просто зале, уставленном широкими мягкими креслами. Три очаровательные японки, счастливо улыбаясь, обступили его. Они низко кланялись ему, и их восхищению не было конца. Нет, они не кричали, и не плакали, и не размахивали руками, но было столько счастья в их улыбках, неподдельной радости при виде его, что Иван Иванович, пока его бережно вели к креслу, подумал: «А вдруг они сумасшедшие?»

Одна из них аккуратно сняла с него пиджачок, другая помогла ему облачиться в легкое голубое кимоно, и ему даже показалось, что он понимает английский язык, на котором они лопотали, и они были так искренни в своей радости и радовались именно ему, а не кому-то там придуманному, условному, что он постепенно начал успокаиваться и успокоился и отверг мысль об их безумии.

Тем временем самолет плавно тронулся с места и покатил по асфальту аэродрома, и Иван Иванович, утопая в кресле, осторожно оглянулся. Пассажиров в первом классе было немного, человек семь. Они тоже были в голубых кимоно. Самолет тихо гудел. С глаз Ивана Ивановича спала пелена. Все вокруг проступило отчетливо. Он украдкой взгляделся в японок. Они не были очень уж красивы, но как обаятельны, как по-японски женственны и милы, и как он ни старался, но они уловили его взгляд и вновь поклонились ему со счастливой улыбкой.

«Притворяются? — подумал Иван Иванович. — Что я им такого сделал?» Преисполненный самых возвышенных чувств, он вдруг пожалел, что не успел купить матрешек, что ли, чтобы благодарно преподнести им теперь. Он даже покраснел от сознания совершенной оплошности.

Самолет загудел пуще, разогнался и мягко взлетел. И тут Иван Иванович понял, что все происходящее с ним — чистая правда и он летит в далекую Японию. Минут через пять гул внезапно прекратился, самолет выровнялся, только легкое шуршание сопровождало полет.

Впрочем, никакого полета и не было — лишь легкое шуршание и прохлада.

Эти молодые японки действительно не были такими уж красавицами, но они и не были на одно лицо, как ему показалось вначале. Он условно назвал их про себя знакомыми именами, а именно: Вера, Надя и Люба. Вера была высокая, стройная, почти европейка. Надя пониже и такая скуластенькая и чуть полноватая, она улыбалась самозабвенно и все время подплывала к нему и спрашивала по-английски, удобно ли ему и не надо ли чего. И он как будто бы все понимал. А Любочка была совсем маленькая, но удивительно изящная, ну просто куколка. В ее улыбке Ивану Ивановичу показалась какая-то даже загадка. Может быть, этому способствовала челочка на ее лбу, может, и что другое.

Они и с другими пассажирами были предупредительны и улыбкивы, но с ним (он это чувствовал) особенно. «Чем же я им угодил?» — все время думал он, но не находил ответа.

Необычная легкость овладела им. Он раскинулся в мягком кресле и приготовился к новым сюрпризам. Они не заставили себя долго ждать. Прекрасная Вера вручила ему маленькие наушники и, смеясь при виде его недоумения, научила ими пользоваться. И вот он услышал прекрасную, глубокую музыку, затем переключил рычажок, и послышалась английская речь, и он, к изумлению своему, тотчас все понял. Сначала он даже испугался, что понимает чужой язык, которого он до той минуты вовсе и не знал, даже мелькнула тревожная мысль: уж не случилось ли с ним чего? Но постепенно заслушался сообщением бойкого корреспондента: разговор шел о событиях в Ливане. Он слушал то известия, то музыку, то детские сказки. Достаточно было переключить рычажок. Никто ему не мешал, никто его не беспокоил, да и он никого не раздражал, и потому ему было легко и счастливо. В этот самый момент подросла скуластенькая Наденька и вручила ему с поклоном небольшую замшевую сумочку на «молнии» и при этом сказала, что это ему подарок на память об авиакомпании. Он совсем уж удивился и принялся изучать содержимое. Приятно поблескивая, предстали его глазам различные флакончики с одеколоном, с туалетной водой и еще с чем-то, пока еще непонятным, безопасная бритва на случай, если он вздумает побриться, и тут же в тубике крем для бритья. Затем — расческа в футляре, если ему заблагорассудится причесаться, коробочка с прозрачным ароматным мылом, и тут же в боковом карманчике небольшое махровое полотенечко, и тут же набор всевозможных предметов, чтобы привести в порядок ногти: ножнички, пилочки, пинцеты и в довершение всего набор мелких пуговиц, ниток и иголок, чтобы мало ли что. Но у Ивана Ивановича пуговицы были все на месте.

Всем этим он, как это говорится, был приятно поражен, но особенно вниманием и восхищением, которое было написано на лицах милых японок. Тут пришла пора обеда. Действительно, Иван Иванович ощутил голод. И сразу все три девушки захозяйничали — и Вера, и Надежда, и Любовь. Все делали быстро, четко, с прежними глубокими поклонами. Вдруг какая-то сила подняла Ивана Ивановича с кресла. Он вскочил, выпрямился, стройный и помолодевший, а после отвесил изумленным девушкам низкий поклон, так что они всплеснули руками, ликуя. Затем ему поднесли горячую влажную салфетку, и он протер руки и лицо. Затем ему предложили напитки, и он выпил коньяку. Затем ему подали меню, и он все понял, вычитал и попросил сырую рыбу, рис и отварные овощи, и обязательно палочки, и тут же приспособился ими пользоваться. На одно лишь мгновение ему почему-то вспомнились раздавленные в автобусе помидоры, но тут же это мрачное видение погасло. После обеда он прошел в туалет, но уж не согнутый, как обычно, и походка его была пружиниста и уверенна, и японки им любовались. Все было ему доступно и с руки, всем он был приятен и даже необходим, и фалды его голубого кимоно многозначительно развевались на ходу. Тем временем кресло было превращено в удобное ложе с помощью ловких приспособлений. Он улегся. Под голову ему положили мягкую белоснежную подушечку, прикрыли его пушистым пледом. «Ну это уж

слишком, — подумал он, — тут уж перебор. Можно было бы и сидя подремать...» Однако раскинулся и тотчас заснул. Проснулся Иван Иванович совсем другим человеком. Щеки его округлились и зарозовели, плечи развернулись, кровь была горяча, и ощущение жизни было необычным и необременительным. Девушки радостно приветствовали его пробуждение, и он им улыбнулся, словно младшим любимым сестрам, а надо сказать, что улыбка у него оказалась весьма обаятельной. И он улыбнулся и совершенно запросто попросил у них чаю или чего-нибудь попить, и все это на чистом английском языке без всяких затруднений. И теперь это уже его не поражало, а воспринималось как должное. Он хотел было даже по-японски, но вовремя сообразил, что пока еще не может составлять правильно фразы.

В передней части салона бесшумно спустился с потолка громадный экран, и началась демонстрация американского фильма. Звук транслировался через наушники и поэтому не мешал тем, кто спал или думал о жизни.

Иван Иванович с любопытством наблюдал за развитием сюжета, а сам прихлебывал зеленый чай. В салоне стояла тишина, лишь слабое шуршание за бортом напоминало о полете. После фильма Иван Иванович снова немного подремал. Его разбудила Любочка мягким прикосновением. Она предложила ему перекусить, на что он с радостью согласился. Он протер руки и лицо горячей влажной салфеткой, а затем принялся за жаренных в сухарях креветок и цыпленка с соевой подливкой. И снова зеленый чай, и какая-то невиданная ранее сладость в тесте, и к этому почему-то прерывистое смутное воспоминание о Москве, которая то ли была в его жизни, то ли почудилась. Именно почудилась, потому что за окном поплыли, вынырнув из облаков, японские пейзажи.

Земля быстро приближалась. Кресло вновь было установлено вертикально. Девушки улыбались, но в улыбках их Ивану Ивановичу увиделась грусть расставания. «Как же мы будем теперь друг без друга?» — подумал он с тоской.

Приземление было спокойным и мягким. Когда замолкли двигатели, Наденька подала Ивану Ивановичу его пиджачок, он переделся и встал. Она окинула его восхищенным взором. «Как же я без них?» — снова подумал он, и сердце его перевернулось.

И вот, несколько раз низко поклонившись друг другу и обменявшись трогательными напутствиями, они расстались. Миновав специальный коридорчик, Иван Иванович очутился в громадном аэровокзале и смело пошел за толпой и шел до тех пор, пока к нему не подбежали несколько радостно восклицающих японцев с плакатом, на котором было написано по-русски: «Здрасьте, Иван Иванович!» Оказалось, что сам Отаке-сан, президент фирмы «Синсейдо», находится среди встречающих. Это был крупный мужчина с широким лицом и глазами ребенка. Начались низкие поклоны, что теперь у Ивана Ивановича получалось весьма непринужденно и несколько не выражало какого-то раболепия или тем паче унижения, а, напротив, самое горячее приращение, уважение и даже восхищение собратом, соплеменником, личностью. Среди встречавших был также молодой аспирант-славист Джоторо-сан, которого фирма пригласила переводчиком к Ивану Ивановичу.

Японцы не догадывались, какая с Иваном Ивановичем случилась метаморфоза. Он ведь уже не был сутул, а некоторая вновь нахлынувшая желтизна щек объяснялась длительностью полета. Все радовались встрече и тому, что гостя ждет отменный номер в классном отеле, где он сможет отдохнуть с дороги. Был подан «мерседес». Приветливый шофер был в белых перчатках. На спинках сидений и на подголовниках покоились белые накрахмаленные кружева. Иван Иванович было оторопел, подумав, что это ему честь такая, но рядом остановилась другая машина, и в ней было такое же убранство, и во всех такси — то же самое, и водители в белых перчатках. Так они и поехали, и приехали в громадный Токио, и въехали в район Сенджуко, и подкатили к высоченному отелю «Сенчури», и взлетели, и вошли в чистую просторную светлую комнату с белой удобной мебелью. Иван Иванович и Джоторо-сан. Внизу за окнами тихо гудел бескрайний город, двигался поток автомобилей, новехоньких, как с иголки. С плоской крыши соседнего небоскреба взлетел синий вертолет. Вдруг вспомнилась Сретенка, и что-то несильно кольнуло слева.

Джоторо-сан вручил Ивану Ивановичу в конверте деньги на мелкие расходы от фирмы и спросил:

— Вы будете отдохнуть?

Иван Иванович растерянно кивнул и остался в одиночестве. Он честно пытался уснуть, но не смог. Снова смотрел на Токио, снова увидел Сретенку и своего начальника. У начальника было усталое, испуганное лицо, он всматривался в Ивана Ивановича пронзительным, умоляющим взглядом и что-то говорил, но за большим расстоянием слова не улавливались.

Итак, началась бурная, стремительная, благоуханная японская жизнь, полная азарта и неги. Вечером в овальном зале гостиницы была устроена пресс-конференция для Ивана Ивановича. Собралось большое число корреспондентов японских газет и журналов. Все приготовили блокнотики и диктофоны. Иван Иванович изрядно нервничал с непривычки и намеревался в случае чего давать отпор, но его очень мирно спросили о рамках, то есть давно ли он этим увлекается, и как это соотносится с его службой, и почему он не продает свои восхитительные работы, и что для него вообще значит творческий процесс... Слово «творческий» применительно к выпиливанию рамок Ивана Ивановича очень смутило, он забекал, замекал, позабыл нужные слова, еле вспомнил и промямлил что-то такое многозначительное. Японцы между тем старательно все записывали, кивали, улыбались. Однако о творчестве и о рамках больше вопросов не было. Зато слышались вопросы о перестройке.

Там, в Москве, Иван Иванович то ли по вялости характера, то ли от сложностей быта о перестройке как-то не размышлял. То есть думал, конечно, ну перестройка так перестройка, ладно, будем перестраиваться... А чего же не перестраиваться?.. Его даже как-то на улице спросил человек с телевидения, подсунув микрофон: «Что вы думаете о перестройке?» А Иван Иванович ничего не думал, он втянул голову в плечи и побежал трусцой в магазин напротив. Иногда смотрел на экран телевизора, как там спорили о всяких финансах и экономике разные симпатичные люди, смотрел, и ему почему-то казалось, что они сами ничего не понимают, они не знают, как сделать так, чтобы в магазинах все было, чтобы все разговаривали друг с другом тихо и уважительно. Ну, ладно, перестройка, перестройка... и не такое пережили... И он выключал телевизор и вновь с ожесточением принимался за рамки, а перед глазами возникал образ начальника, который топал ногами и кричал: «Вся страна перестраивается, а они тут черт знает что, понимаешь!» И, устав от этих непонятных криков и постоянно чувствуя себя во всем виноватым, Иван Иванович втягивал голову в плечи и старался ни о чем не думать. А тут вдруг снова эти вопросы и наострившиеся лица японцев: «Что вы думаете о перестройке?» И тут Иван Иванович улыбнулся и ответил с непривычной раскованностью:

— Это наш последний шанс. Общество тяжело больно, но я верю, что недуг излечим. Мы становимся зорче и перестаем игнорировать общемировые процессы.

— А если перестройка сорвется? — спросил один из корреспондентов.

— Случится катастрофа, — мрачно ответил Иван Иванович, — хотя, — продолжил он убежденно, — даже если все кончится, уже то, что произошло, — благо...

— А кто же все-таки мешает? Бюрократы? — спросила миловидная японка. — Почему так трудно и медленно?

Иван Иванович подумал и сказал:

— Смешно и наивно считать бюрократов главной причиной трудностей. Тормоз — не бюрократы, а все общество, и это главная проблема. Главный противник перестройки — низкий уровень культуры политической, экономической, нравственной.

Вопросы сыпались как из рога изобилия, и Иван Иванович, как ни странно, тут же находил ответы.

Разговор длился больше часа, зашла речь о Японии, и Иван Иванович сказал среди прочего:

— Вот вы сидите передо мной такие сытые, счастливые, умиротворенные...

И тут японцы тихо рассмеялись. Этот смех напоминал шуршание. Иван Иванович всполошился, засуетился и торопливо проговорил:

— Нет, нет, вы меня не так поняли. Я понимаю, что и у вас много проблем. Вообще, где есть люди, там без проблем не обходится, я понимаю... — Он очень не хотел, чтобы его воспринимали обалдевшим туристом, и он попытался объяснить им свою точку зрения. Они кивали, и записывали, и улыбались.

Затем дни замелькали, одаривая все новыми восхитительными впечатлениями. Много уже стало привычным, воспринималось как должное, но все чаще и чаще вставала перед ним Москва, и почему-то именно ранний рассвет, и на всем розовые краски, и его учреждение, и его начальник, но вспоминал он обо всем этом с грустью и умилением, словно не было очередей, забитых автобусов, выговоров, и оскорбительных придировок, и угроз...

«Попробовали бы вы все это, — думал он, глядя на улыбающихся, кланяющихся японцев, — не до улыбок вам было бы...» Вот такие размышления начали его посещать, хотя в них не было ни капли недоброжелательства или, скажем, неприязни, нет, лишь мимолетная горечь и печаль.

Ивана Иваныча возили по музеям, по роскошным паркам, водили по улицам, и везде, где он ни появлялся, куда ни заходил, к нему бросались с поклонами, выказывая свое уважение и даже, может быть, любовь, и, преисполненный благодарности, он ходил с высоко поднятой головой, радуясь, что нужен людям, что им удовольствие видеть его и выслушивать. Особенно его удивляли автомобили, когда на узкой старой токийской улочке они вдруг вырастали перед ним и тотчас замирали, словно живые существа, пока он с гордо поднятой головой переходил дорогу. Тогда они тихо трогались с места и на лицах водителей сияла неизменная улыбка. «Что же я им такого сделал?» — думал он, и ему всякий раз хотелось крикнуть им вслед: «Братья и сестры, раскройте секрет мастерства!..» Он, кстати, мог бы крикнуть это по-японски, так как уже довольно прилично изъяснялся, но не мог решиться нарушить покой улицы.

Накануне отъезда Иван Иваныч купил себе легкий бежевый костюмчик, облачился в него и впервые со дня своего приезда глянул в зеркало. Перед ним стоял высокий стройный мужчина, еще нестарый. Красивая голова была высоко вскинута, и не какие-то там амбиции отражались на его свежем лице, а человеческое достоинство, и щеки покрывал румянец.

Тут с ним произошла одна небольшая, чрезвычайно забавная, как ему показалось, история. Прогуливаясь в своем новом костюме по одной из торговых улиц, он вдруг увидел вывеску со знакомым словом: «Beigiozka», оно было написано латинскими буквами. Латинские эти буквы несли родимый смысл, и аромат родины донесся до взбудораженного сердца Ивана Иваныча. Эта вывеска над стеклянным входом вела в магазин, где, как догадался Иван Иваныч, торговали товарами из его страны. Искушение было велико, и Иван Иваныч шагнул под родимый кров. Первое, что он увидел, было великое множество бутылок с водкой — «Московской», «Столичной», «Сибирской», «Польской», бутылок с армянским, грузинским, молдавским коньяком, крымским «Каберне» и другими винами, и все это вполне дешево и безо всякой очереди. И Иван Иваныч, посверкивая глазами, стремительно потянулся было к этому добру, но тут же опамятовался и рассмеялся. Все это выглядело крайне соблазнительно, однако магазин был пуст, и японцы почему-то не торопились расхватывать этот потрясающий дефицит. Затем перед путешественником засверкали коробки консервов с крабами, затем... витрина на противоположной стене заставила его вздрогнуть: перед ним на многочисленных полках, вглядываясь в него голубыми безразличными глазками, поджав пунцовые губки, неподвижными рядами застыли многозначительные батальоны расписных матрешек. Их пухлые торсы выражали вечное презрение к чужеземным радостям, в их бездонных чревах толпились целые армии грядущих поколений, уже наостривших голубые глазки, и поджавших пунцовые губки, и надувших розовые щечки. И все эти полчища глядели на Ивана Иваныча, не выражая никакого интереса ни к нему, ни к окружающему миру. В магазине было пусто. Не уняв дрожи, Иван Иваныч покинул это загадочное заведение.

В последний вечер президент фирмы «Синсейдо» господин Отаке-сан устроил у себя дома отвальную. Ивана Иваныча привезли в уютный японский дом, где у порога, по обычаю, пришлось снять обувь. В прихожей встречали хозяева и гости. Долго кланялись друг другу и не

скрывали своих высокопарных чувств. Осторожно ступая по рисовому татами, Иван Иванович вошел в комнату. В центре комнаты, в которой были раздвижные стены из рисовой бумаги, стоял низкий квадратный стол, окруженный плоскими подушечками. Каждый уселся на свою, а ноги опустил под стол в специальное углубление, дно которого обогревалось. Ногам было тепло и покойно. Наполнили деревянные квадратные рюмочки горячим саке и выпили за дорогого гостя. «Кам-пай!» — зазвучало среди рисовых стен.

Они пили саке и пиво и ели палочками различные японские деликатесы, сдабривая все это соевым соусом. Шел непринужденный разговор о поэзии, живописи, музыке, как вдруг взгляд Ивана Ивановича остановился на противоположной стене, и он узнал свою рамку. Без ложной скромности он отметил ее высокое качество и порадовался, но то, что было заключено в ней, его поразило. Перед ним простирался красно-желто-зеленый луг, ну это, конечно, условно, и на этом красно-желто-зеленом распластался, вытянув печальную шею, черный умирающий журавль. Иван Иванович не видел, открыты ли его глаза или уже закрылись, но в самой позе было столько пронзительного отчаяния и тоски и даже несогласия с судьбой, но в то же время столько покорности, что хотелось закричать, умолить, потребовать, наконец... Разве можно лишать жизни живое, горячее, любящее? Да, но за вину, которая накапливается в нас в течение всей жизни, а ведь это мы сами виноваты в собственных несовершенствах, и за это нужно платить самую высокую цену чуть позже, чуть раньше... Ах, лишь бы только это зависело от благорасположения светил, а не от людской прихоти. Бедный черный японский журавль, так по-русски, так по-грузински, так по-татарски уходящий из этого мира!..

Все, затаив дыхание, смотрели на Ивана Ивановича. Он поднял чашечку саке и сказал:

— Друзья мои, вот дом, где говорят об искусстве и скорбят о черном журавле. Это значит, что мы, несмотря ни на что, остаемся людьми. Я пью за это. Камлай!

— Камлай! — откликнулись собравшиеся.

Господин Отаке-сан тихо плакал.

Утром перед отлетом было по-прежнему много улыбок, поклонов и грусти. Вкрадчиво и многозначительно шумел Токио. Иван Иванович оглядел провожающих — в их глазах и лицах было откровенное счастье видеть его. И вдруг он с отчаянием подумал: «Да как же вы все будете теперь без меня?!»

И улетел. На следующий день, не успев он явиться на службу в свое учреждение за свой стол, как позвонила секретарша начальника и пригласила его зайти к самому.

Он шел по коридору пружинистой, твердой походкой. В приемной секретарша успела шепнуть ему, что начальник теперь новый, что старого уже нет. Иван Иванович не удивился. «Правильно, — подумал он без злорадства, — давно пора от таких работников избавляться. Новые времена — новые люди...» Он вошел в кабинет без бывшего подобоострастия, без былой угнетенности и там, удобно и с достоинством расположившись в кресле, узнал, между прочим, что бывший начальник ушел на повышение.